



ВЕРА ФИГНЕР
ЕКАТЕРИНА
БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ
СОФЬЯ ПЕРОВСКАЯ

ОНИ ШЛИ УБИВАТЬ ИСТОРИИ ЖЕНЩИН- ТЕРРОРИСТОК

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ТРИЛЛЕР

Документальный триллер

Вера Засулич

**Они шли убивать. Истории
женщин-террористок**

«Алисторус»

2022

УДК 53
ББК 22.3

Засулич В. И.

Они шли убивать. Истории женщин-террористок /
В. И. Засулич — «Алисторус», 2022 — (Документальный
триллер)

ISBN 978-5-00180-765-0

Когда тебе нечего терять, тебе уже ничего не страшно... Софья Перовская организовала убийство царя Александра II. Вера Фигнер была главной обвиняемой по «Делу четырнадцати», а свое последнее слово она превратила в программную речь, изменившую ход истории. Фанни Каплан стреляла во Владимира Ленина, а Екатерина Брешко-Брешковская возглавляла террористическую организацию. Во второй половине XIX века в России произошел всплеск террора, направленного против чиновников. Организаторами убийств и нападений чаще всего были женщины. Почему так вышло? Что толкало их на преступления против человечности? В предлагаемое издание вошли воспоминания самых ярких и известных женщин-террористок, которые, переступив черту закона, не только вписали свое имя на скрижали вечности, но и сумели изменить ход истории. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 53
ББК 22.3

ISBN 978-5-00180-765-0

© Засулич В. И., 2022
© Алисторус, 2022

Содержание

Предисловие	6
Екатерина Брешко-Брешковская	8
Глава 1	9
Глава 2	16
Глава 3	25
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Они шли убивать. Истории женщин-террористок

Автор-составитель Елизавета Бута

Редакторский проект Елизаветы Бута



© авт. – сост. Е. Бута, 2022

© ООО «Издательство Родина», 2022

Предисловие

Елизавета Бута

В одной из книг по криминалистике мне встретилось весьма возмутительное утверждение о том, что женщинам не свойственно совершать насильственные преступления, а в качестве доказательства этого со многих сторон сомнительного тезиса приводился аргумент о том, что история не знает случаев, когда женщина выступала организатором террористического акта. Конечно, такие глупость и узколобость не могли не возмутить, но при беглом обращении к бульварной криминалистике, выяснилось, что для многих изданий – причем, как русских, так и зарубежных – это почти что общее место. На самом деле, человек стал переступать черту закона ровно с того момента, как появилось само понятие закона. Ни один вид преступления не чужд ни одному полу. Однако, в абсолютном большинстве случаев, люди нарушают закон ради личной выгоды, а не ради высоких идеалов. Почему люди во имя идеи бывают готовы нести смерть, а зачастую – и идти на нее сами? Заявляя, что мужчинам более характерно делать из смерти свое ремесло, многие психологи и историки забывают о таком культурно-историческом феномене как женский террор рубежа XIX и XX веков. *Fin de siècle*, когда десятки молодых женщин вступали в разного рода подпольные и боевые группы, устраивали расправы над видными политическими деятелями, самой знаковой из которых стало цареубийство. Немыслимое, кощунственное по меркам патриархального сознания преступление, непосредственное участие в организации которого принимали женщины – Софья Перовская и Вера Фигнер.

Так что же произошло? Никогда доселе не появлялось такого количества молодых женщин, которые готовы были пожертвовать своей жизнью и свободой, организовывая убийства (пусть и во имя высоких, по их мнению, целей). Возможно, стоило бы объяснить эту тенденцию растущей популярностью феминистских настроений в обществе? Но в этом случае, количество женщин-террористок – причем не только в России, но и во всем мире – должно было бы неуклонно расти вместе с увеличением числа феминисток, но, к сожалению или к счастью, этого не происходило. Дела обстояли куда проще.

В конце XIX и начале XX века социально-экономическая ситуация в Российской империи выглядела весьма плачевно. Крестьяне, царским указом получившие вместе со свободой от крепостничества свободу от веками занимаемой ими земли, в одночасье лишились традиционных средств к существованию. Более чем скромные в те времена социальные лифты не были в состоянии вытащить из нищеты и бедности массы крестьян, оставленных царем-батюшкой на произвол своих бывших хозяев. В результате, на смену крепостной зависимости пришла зависимость долговая, процесс освобождения от которой кое-где затянулся на десятилетия, что только усугубляло ситуацию.

Далее, унижительная черта оседлости запрещала евреям жить в Москве и Петербурге, вынуждая их селиться на западных окраинах Империи, где порой иноверцам жилось сложнее даже, чем освобожденным крестьянам. Стоит признать, что постепенно количество категорий евреев, которым все же разрешалось обосноваться в крупных городах увеличивалось. К примеру, людям с высшим образованием теперь больше не требовалось жить за чертой, врачам всех категорий и крупным дельцам тоже можно было не соблюдать эти правила. А что насчет еврейских девушек из небольших городков и сел? Какой у них был шанс на более или менее достойную жизнь? Женщина могла надеяться получить право называться человеком только после замужества. Девушка в крупном городе вполне могла выучиться на какую-нибудь богоугодную профессию вроде учительницы или медсестры на женских курсах, но о получении полноценного образования не могло быть и речи, не говоря уж о том, чтобы работать и зарабатывать на престижном месте. За чертой оседлости выучиться было еще сложнее, а найти себе

мужа можно было только из числа тех, чье положение в обществе немногим лучше. И что же было делать? Какой шанс на перемены был у этих несчастных девушек? Риторический ответ на этот вопрос не устраивал все большее количество людей. У них не было ни малейшего шанса на достойную жизнь, они не были обременены оковами семьи и ответственности за детей, и, по большому счету, они ничем не рисковали. Когда тебе нечего терять, тебе уже не страшно.

Конечно, это только парочка очевидных проблем в обществе, которые привели к созданию многочисленных политических кружков и боевых организаций. Это лишь несколько очевидных причин, по которым в эти кружки постепенно стали приходить амбициозные еврейские и русские девушки из небогатых семей. Число людей, которые чувствовали себя лишними и выброшенными на обочину жизни росло, а вместе с тем росло и количество подобных организаций. Вскоре уже в этих кружках можно было встретить девушек и юношей не только из самых бедных слоев общества, но и людей с более или менее хорошим уровнем образования и даже достойной профессией. Все больше и больше людей чувствовали себя лишними и ненужными, а еще больше людей постепенно приходили к мысли о том, что рано или поздно лишними станут все, и мириться с этим уже никто не хотел.

К началу XX века тридцать процентов всех членов боевых организаций составляли женщины. Одни становились организаторами покушений на чиновников и лидерами кружков и ячеек, как это было в случае Екатерины Брешко-Брешковской или Веры Фигнер, а другие соглашались на своего рода публичное самопожертвование, как то случилось с Дорой Бриллиант. Так или иначе, акты террора – как реализованные, так и запланированные – имели широкий общественный резонанс; каждый судебный процесс над женщиной-террористкой становился публичным и привлекал к себе особенное внимание журналистов и писателей. Несмотря на то, что на скамье подсудимых оказывались убийцы, на их стороне зачастую выступали самые выдающиеся юристы России, а присяжные, как это было в деле Веры Засулич, отказывались считать этих убийц преступницами. Общество видело в них великомучениц и святых, образ женщины-террористки воспевали поэты и писатели Серебряного века, в них влюблялись, они становились примером для подражания, чем привлекали внимание и к самой деятельности преступных организаций. Жизнь любой революционерки в Российской империи состояла из арестов, судов, тяжелых работ на каторге, отчаянных побегов и новых покушений. Жизнь в подполье очаровывала и затягивала, поэтому лишь немногим из террористок удалось разорвать этот порочный круг и найти себя за его пределами; большинство же из них смогли снискать себе не счастье, но покой только после смерти. Оказавшись нужными для свержения одного режима, они были выкинуты из страны или расстреляны уже другим, куда более жестоким режимом.

Эту книгу составили воспоминания наиболее ярких женщин-террористок Российской империи, чьи имена навсегда остались на страницах смутных времен истории нашей страны.

Екатерина Брешко-Брешковская

Воспоминания «бабушки русской революции»

Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская (1844–1934) – деятель русского революционного движения, народница, одна из основателей и лидеров партии социалистов-революционеров, а также ее боевого крыла – Боевой организации. Известна как «Бабушка русской революции». Была сторонницей политического и аграрного террора, считая их одними из наиболее эффективных методов борьбы. В 1901 году оказывала активную поддержку Г. А. Гершуни в создании Боевой организации ПСР. Будучи ее руководителем, Брешко-Брешковская не совершила ни одного теракта, но стала их вдохновительницей, считая, что «для достижения благих целей любые средства хороши». Встречалась в 1902 году в Вологде с такими в будущем видными эсерами-террористами, как Б. В. Савинков, И. П. Каляев, Е. С. Созонов.

Глава 1

О самой себе

Родилась я в 1844 г. Детство и молодость провела в Черниговской губернии, и на всю жизнь осталась благодарна родителям своим за доброе и разумное воспитание и обучение. Крепостных людей они жалели, не обижали; все же резкая разница в том, как жили мы, помещики, и как жили крестьяне в избах своих, была так поразительна, что датская душа моя страдала сильно от противоречия действительности с учением Христа. Мать часто читала нам Евангелие и биографии великих подвижников правды и любви к человечеству.

Во всю свою жизнь я так много и неустанно думала о нуждах народных, о горе народном, что все мои страдания и радости только с народом и обаяны. И всегда я ставила своим долгом – послужить народу и сделать так, чтобы открылись народу глаза на его жизнь и нужды.

Моя собственная жизнь вся состояла из любви и преданности к стране и народу и страстного желания послужить народу, сколько сил хватит, до самой смерти.

Меня спрашивают – как дошла я до твердой решимости жить только для народа? Я думаю, что эта решимость была во мне всегда, от самых маленьких лет, с самого начала моего сознания.

Когда я мысленно оборачиваюсь назад, к своей прошлой жизни, я, прежде всего, вижу себя маленькой пятилетней девчонкой, которая все время страдала и болела сердцем за кого-нибудь: то за кучера, то за горничную, то за работника, то за угнетаемых крестьян (ведь тогда было еще в России крепостное право).

Впечатления народного горя так крепко запали в мою датскую душу, что потом они не покидали меня уже во всю жизнь.

Мне было семнадцать лет, когда в 1861 году крестьян освободили от произвола помещиков, но так плохо наделили землей, что рабочему народу пришлось снова идти в кабалу к богачам. Волнения крестьян вызывали страшные экзекуции; страдания их проходили на моих глазах и усиливали мое стремление служить народу моему чем только могу, ради облегчения его горькой доли. Ни о каких революционных кружках и организациях в провинции тогда не было слышно, но скоро наступила работа земская, и я приложила к ней свои старания. Десять лет работала, то в школе крестьянской, то в деревне организовывала ссудо-сберегательные кассы, взаимопомощь, артели и организовала крестьян перед выборами в судьи, управу. Дело налаживалось, доверие ко мне крестьян помогало моей работе, но против меня и помощников моих ополчились дворяне, донесли министрам, и всю нашу долготетнюю работу, как метлой, смело: закрыли школы и кассы, отдали под надзор всех честных людей в уезд нашем и губернии Черниговской, многих сослали в северные губернии и меня стали преследовать. Я увидела ясно, что правительство Александра III только на словах делало реформы, будто хотело улучшить жизнь населения. На самом же деле правительство зло преследовало всякую попытку помочь рабочему народу выбраться из темноты к свету, подойти к знанию, проявить свои права. Ясно было видно, не только в наших местах, но и по всей России, что правительство боится сознательности народа и старается держать его в рабском беспорядке. Это заставило меня искать другой дороги, другого способа работать на пользу дорогого мне народа, и в конце шестидесятих годов я решила отправиться по России искать людей, чтобы с ними вступить на путь борьбы нелегальной, т. е. недозволенной царскими законами.

Больше двух лет скиталась я по России, все искала революционной среды, державшейся очень конспиративно. Но постепенно, переходя от одной работы к другой, прошла я в организации довольно обширную, решившую проникнуть в народ лично, а не только посредством книг и листов.

В то время разница между морем крестьян и озерком интеллигенции была так велика, что друг друга они совсем не знали. Кроме того, недоверие крестьян ко всему, что носило облик «господина», было настолько глубоко, что не было возможности нести в крестьянскую и рабочую среду идеи свои, оставаясь господином по внешности. Надо было преобразиться с ног до головы, надо было казаться настоящим простолюдином.

Оделась я в крестьянскую одежду, захватила котомку, палку и пошла бродить. Хотя я и недолго ходила – всего лишь одно лето, но мне удалось повидать много деревень, и нигде я не встречала недоверия. Крестьяне охотно слушали слова мои и моих товарищей. Мы говорили им, что земля не должна быть в руках отдельных людей, что ее надо объявить всенародной, принадлежащей всему народу, всем тем, кто хочет на ней трудиться. Не должно быть такого порядка, когда землю продают, закладывают, покупают, сдают в аренду, собирают в одних руках тысячи десятин, а рядом люди голодают оттого, что им негде приложить свои силы. Крестьяне соглашались с нами и тоже говорили, что земля должна принадлежать только тем, кто на ней трудится, кто ее обрабатывает.

Мы говорили также, что помещики угнетают народ, что они забрали все государство в свои руки, что чиновничество держит руку помещиков и мешает народу жить свободной жизнью. И в этом вопросе крестьяне тоже соглашались с нами.

Об одном только нам трудно было говорить, это о царе. Мы старались объяснить крестьянам, что царь заодно с помещиками и чиновниками, что он-то как раз и является главным угнетателем народа. Но крестьяне не хотели этому верить. Они тогда настолько далеки были от государственной жизни, ничего не читали (ведь безграмотные все были) и ничего не знали, что им и в голову не приходило, – сколько зла принесла России царская форма правления. Крестьяне верили царю, они были убеждены, что царь – это добрый хозяин всей земли русской, который содержит войско для защиты от врагов, а крестьяне должны обрабатывать землю, платить ему подати на содержание войска. Они думали, что царь любит свой народ и заботится о нем, а если порой чиновник притесняет народ, так это оттого, что он царя обманул. А если царь всю правду узнаешь, то он чиновников прогонишь и опять будет для народа, как родной отец.

Так думали крестьяне о царе. Но я все же говорила им настоящую правду про царя, объясняла им, что царь знает про все угнетения и сам руководит всеми угнетателями. Крестьяне говорили, что я ошибаюсь, но все-таки выслушивали меня, и никто из них не обидел меня грубым словом.

Я ходила по деревням не одна. Три тысячи человек молодежи пошли в это же время в народ, рассыпавшись по 36 губерниям России, и все мы говорили народу об одном и том же, все мы старались пробудить народ к хорошей свободной жизни. Однако скоро правительство узнало о нашей деятельности, и многих начали арестовывать, сажать по тюрьмам, ссылая на каторгу и в Сибирь.

Меня арестовали совершенно случайно в 1874 году. Я ходила по Юрьевской, Подольской, Черниговской и Херсонской губерниям и имела при себе в котомке подробные карты этих местностей, чтобы знать, куда идти, и лишними расспросами не навлекать на себя подозрений. Когда я останавливалась в деревенских избах, никто из крестьян не заглядывал в мою сумку, и таким образом никто не мог догадаться, кто я такая.

Но вот однажды, когда я остановилась в с. Тульчине, Подольской губернии, работница того крестьянина, который приютил меня, заглянула в мою сумку и нашла там карты, по которым я узнавала местность.

Для человека неграмотного всякая печатная бумажка представляется редкостью (а в те времена особенно). Само собой понятно, что работница была поражена своими открытиями. В тот же день она ходила на работу к становому приставу на огород и все там рассказала

Становой всполошился и помчался искать меня.

А я в это время, ничего не подозревая, шла с базара, купив пару яблок, кусок сала и хлеб. Вдруг скачет становой в коляске, кричит:

– Садись в коляску!

Ну, я уж поняла, в чем дело, сажусь, молчу.

Приехали к избе.

– Где вещи этой женщины?

А хозяин отвечает:

– Вещей у нее нет, а вот котомка есть.

– Давай сюда котомку.

Взяли котомку, а там карты лежать, прокламации. Ну, значит, кончено мое дело.

Становой неопытный был, простоватый, развернул прокламации и давай их вслух читать при всех.

А крестьяне прослушали и говорят:

– Вот это настоящая слова. Вся правда написана. Это та самая грамота, которую дворяне от нас спрятали.

Подъехал следователь, и начали они вдвоем опять эту прокламации вслух читать, а тут набралось крестьян множество и под окнами стоят, слушают. Наизусть мои прокламации выучили.

Дали знать исправнику приехал он, сразу сообразил, в чем дело, и отправили меня в тюрьму.

В то время женщина-пропагандистка была чем-то неслыханным и невиданным. Из страха перед таким явлением, смотритель Брацлавской тюрьмы счел нужным сразу же посадить меня в темный карцер и надеть мне ручные кандалы. Прошел месяц в скитаниях по уездным тюрьмам, когда явились жандармы, выхватили меня из рук полиции и потащили сначала в Киевское заточение, потом в Московское и, наконец, в Питерское, где нас и судили, продержав до суда по 4 года в одиночках. Заточение было серьезное. Из трехсот подсудимых, оставленных для суда, выжило только 193, из них 37 женщин. За все время показаний я не давала, и меня приговорили к 5 годам заводских работ. Не страшно было, ничто не страшило, когда верилось в свою правоту.

Мой здоровый организм и уже зрелый возраст помогли мне выносить долгие испытания, в то время, как молодые, нежные силы быстро заболевали, и смерть уносила одних за другими, оставляя чувство жестокой обиды и неизгладимой горечи.

Но надо всем стояла жажда деятельности, так рано прерванной злобой рукой. Мысль о возвращении в партию, к революционной работе жила в мозгу раскаленным гвоздем и побуждала все способности, всю силу изыскивать средства к побегу. Туда, к борцам, к светлым народолюбам, устремлялись духовные очи наши.

Я была уже на поселении, за Байкалом, в Баргузине, когда с тремя товарищами-мужчинами двинулась в гористую тайгу с ее тысячами препятствий и опасностей. Николай Сергеевич Тютчев¹ описал вкратце наш рискованный побег, кончившийся поимкой нас, блуждающих по неведомым пропастям и скалам. Меня, как бывшую каторжанку, присудили к 4 годам каторги и 40 плетям, которых, однако, применить не решились, «чтобы не возбудить против администрации политических ссыльных», как было сказано в бумаге военного губернатора Забайкалья.

Пришлось отправиться в 1882 году, после годового тюремного заключения, на вторую каторгу, все на те же Карийские прииски, тогда усеянные тюрьмами для уголовных и политических. И те, и другие гибли там от цинги, тифа, чахотки – без конца, уголовные же еще в большем числе, так как с ними начальство совсем не считалось и держало их в самых позорных условиях.

Для меня же вторичный приезд на Кару был скорее праздником. В первый приезд не было женщин-каторжанок, кроме меня, – еще не вошло тогда в моду ссылать на рудники и женщин; теперь же я застала 16–18 подруг (старых и новых знакомых) и всю вторичную каторгу провела в обществе, лучшем в мире.

Заводские работы считались 8 месяцев за год, и срок мой пролетел незаметно. Одно было тяжело, – это видеть, как более слабые здоровьем постепенно хирели и верными шагами приближались к могиле, в самом расцвете жизни своей.

В 1885 году я снова на поселении в Забайкалье, в мертвом городе Селенгинске, где прожила восемь самых грустных лет моей жизни. Голая степь, заколоченные домики и неустанная слежка полицейская стали моим уделом. Мне не давали ни крестьянства, ни тем более паспорта по Сибири. А сердце горело страстным желанием бежать, восстановить борьбу с одичалым от злобы врагом и мстить за невинно погибшие лучшие силы, дочерей и сыновей нашей родины. Искала, старалась, боролась с препятствиями – все напрасно. Степь Забайкальская, безбрежная степь Монгольская, а на севере Байкал неприступный – стояли суровыми союзниками той стражи, которой власти окружали меня. Ни железной дороги ни пароходства не было еще. Вот здесь, в Селенгинске мертвом, томила я целых восемь лет, как дикий сокол в тесной клетке. Одинокая, вечно рвущаяся – выходила я в степь и громким голосом изливала в пространство тоскующее по свобод сердце бурное. Не было дня, чтобы я не думала о побеге, я была готова на всякий риск и опасность, впивалась в малейшую возможность уйти – напрасно. Никто, решительно никто не брался помочь: все, кому можно было довериться, считали побег заранее обреченным на неудачу. Болела душа моя; и только мысль о товарищах-каторжанах, о тех, что усылались в пустынную Якутскую область, где чахли по якутским юртам, – только мысль о их страданиях заглушала мои собственный. Восемь пустых лет селенгинской жизни так и остались на всю мою жизнь серой пустотой, съедавшей горечь моей горячей груди. Я заполняла свое время работой ради денег, чтобы послать свой заработок в темный тюрьмы, в снежные пустыни, голодным, забытым товарищам; я читала, училась, чтобы знать, как жило и как живет человечество, чтобы судить о том, насколько близка и насколько далека возможность увидеть его преобразовавшимся в до «разумное существо», с которым жить не опасно, а весело. «Терпи, – говорила я себе в минуты острой скорби, – терпи, выноси до конца, ты своего дождешься».

В 1890 году, пробыв четыре года в звании крестьянки, я наконец получила паспорта, по всей Сибири и в тот же день выехала из душившего меня места, чтобы в ожидании конца срока подвигаться постепенно к границе России.

Здоровье было сильно ослаблено жизнью суровых лишений, какую я всегда вела в одиночестве. Малоокровие и сильная невралгия замучили меня в Селенгинске. Но унаследованная сила организма быстро возобновилась, и последние четыре года моей жизни в Сибири, переезжая из города в город, я успела много беседовать с молодежью и взрослыми, успела найти союзников в лице лучших граждан Сибири. И когда в 1896 году, в сентябре, я вернулась в Россию, я застала там не мало студентов и курсисток, с которыми в Сибири твердила о теории и возрождении старых лозунгов. Они скоро взялись за дело освобождения, и многие до сей поры остались верны своим принципам.

И опять в сентябре въехала я в Россию, в день, когда это стало возможным. Но тут же встретила я другое течение, жадно завоевывающее себе место. Марксизм быстро охватывал умы молодежи; на старых борцов смотрели, как на отжившую силу. Но вера в силу личности, вера в здоровую силу народа, знание его нужд и целей – придавали столь твердую уверенность моей энергии, что, ни секунды не колеблясь, я и практически принялась за работу, давно созревшую в душе моей, еще на большом процессе 193-х. В 1878 году я заявила судьям, что «имею честь принадлежать к социалистической и революционной партии российской и потому не признаю над собою суда царских сенаторов». Прошло восемнадцать лет, и моя принадлежность к партии

социализма и революционности жила во мне так же свежо и горячо, как и в дни ареста и суда. Уверенность в том, что массы крестьянские, – эти основы бытия всего государства, – услышат, голос друзей своих и не замедлят пойти за вожаками своими – уверенность эта торопила меня начать спланировать силы, способный примкнуть к партии социалистов-революционеров, как с первых же шагов она и была окрещена.

Надо помнить, что въехала я из Сибири в Россию совсем как есть одинокая, даже адресов к старым товарищам, еще застрявшим в складках мрачной жизни царствования Александра III, у меня не было. Ни денег, ни паспорта нелегального, ровно никаких конспиративных указаний. И потребовалось не мало времени, осторожности и терпения, прежде чем мои неустанные скромные поездки по России дали определенный результат ознакомления с людьми и возможностями работы. Готовность крестьян присоединиться к организации выяснялась все определеннее, и на четвертом году работы партия заявила громко о своем образовании, а на пятом – все отдельные комитеты признали единый центр; и рост членов и рост их работы обратили на себя свирепое внимание царского правительства.

В 1903 году партия потерпела большой разгром. Аресты и обыски лишили ее многих видных работников, лишили лучших типографий и складов литературы. Необходимо было восполнить все это. В это же время деятельность партии выросла и укрепилась за границей, благодаря нашим талантливым и ревностным эмигрантам, напрягшим все свои силы на издание партийных органов – «Вестник Революции» и «Революционная Россия» – и книг и брошюр для народа. Вокруг этих славных работников нашей партии сорганизовалось очень много молодых людей, желавших разобраться в вопросах теории и практики, чтобы и самим затем принять участие в работе среди народа и для народа.

С целью звать эту молодежь на непосредственное дело у себя дома, в Россию, я впервые отправилась за границу. В мае 1903 года я села в Одессе на пароход и в сопровождении опытного контрабандиста-интеллигента, через Румынию, Венгрию, Вену, приехала в Швейцарию, в Женеву, где сгруппировался центр работников партии, живших разбросанно в Париже, Лондоне и Швейцарии. В этом месте вплотную примкнули к нам старые борцы семидесятых годов: Леонид Шишко², Феликс Волховской³, Егор Лазарев⁴, Николай Чайковский⁵.

Молодежь, обильно печатавшая рефераты, лекции, диспуты, внимательно прислушивалась к голосу наших ораторов. Виктор Чернов – главный редактор центральных органов наших – проникновенно выступал в защиту партии от нападений противников и давал пояснения учения, сложившегося на философских обоснованиях Чернышевского, Лаврова, Михайловского. Наряду с этим я настойчиво доказывала молодежи, что пора ей взяться за реальную работу, за пропаганду усвоенных ею идей среди крестьян и рабочих, за организацию всех сил, способных и готовых вступить на борьбу со старым режимом, готовых отдать свою жизнь за свободу России. И вот начался отлив из-за границы на родину молодых людей обоюбого пола, началась усердная перевозка ими литературы социалистов-революционеров – и книжки «в борьбе обрешь ты право свое» разобщались щедрой рукой по градам и весям России. Одни, набравшись знания и указаний, ехали в глухие места родины, другие вливались оттуда сотнями в Швейцарию и Париж, чтобы в свою очередь почерпнуть из источника живой воды, и опять уезжали в глубины России и оттуда извещали об успехах и неудачах своих.

С каждым месяцем прилив и отлив усиливался, можно было смело сказать, что юная Россия твердо решила отдать силы свои толщам народа своего.

Эта работа, работа направления сил юной России, взяла у меня два года времени. Правда, я успела побывать и в Америке, куда меня усиленно звали друзья свободы. Оттуда выслала немало денег на расходы партии, главным образом на литературу, перевозка которой в Россию стоила очень дорого. В Соединенных Штатах приобрела я много друзей верных, преданных на всю жизнь. Они доказали это, осыпая меня своим вниманием ко всем моим нуждам, во

все годы моей последней ссылки и тюрьмы – от 1907 и до 1917 г. – ни на одну неделю не переставали заботиться обо мне.

Услышав удары открытой борьбы 1905 года, я снова перешла границу, обратно на родину, но на этот раз я ее перебежала пешком, в сопровождении двух контрабандистов (интеллигента и крестьянина) и вместе с товарищем-другом, несшим запас динамита.

То шла Русская революция, звавшая с собой на бой неравный всю Россию.

Друзья-товарищи, вы сами помните события пятого, шестого и седьмого годов. Усилия революционеров всех партий не могли устоять против физической силы злого правительства, но эти усилия не только встряхнули застывшую душу великого народа, они втянули его проявить свою силу, увидеть себя победителем хотя бы и временно. Уже клонился бой к концу своему, уже складывали там и здесь знамена до следующего подъема сил и духа, уже опричники казнили и вешали, расстреливали и пытали лучших борцов, – а мой дух был далек от смирения, надеждой вздувалось сердце мое – и я с головой бросилась в гущу событий. После разгона второй Государственной Думы я мнила новый порыв негодования со стороны народа. Но, видно, чаша сомнений еще не истощилась, и народ задумчиво смотрел в будущее, не решаясь рисковать слабеющими силами.

В дни такого угнетения с одной стороны и тщетного напряжения сил с другой, – я была арестована в городе Самаре в 1907 году, и опять же в сентябре месяце.

Мне думалось, что на этот раз палачи не выпустят меня живою из рук своих. Думалось так, а чувствовалось иначе.

Два года и девять месяцев, что продержали меня в Петропавловской крепости, не о смерти думала я, а о том времени, когда Россия – после неизбежной второй революции, победоносной и торжественной – возьмется за работу строительную и в несколько лет преобразит нашу обездоленную страну, наш еле грамотный народ – в образцовое государство, могущее служить примером всем другим народам, как по культуре, так и по своему социальному благоденствию. Я настолько живо себе рисовала все события, ожидающая новейшую историю России, что и сейчас, переживая не мечты, а действительность, я живу, как бы продолжая давно знакомое существование.

Уверенность в возможности увидеть родину свою свободной, народ свой растущий в довольстве и духовном развитии – придавала мужество, окрыляла силы мои. Я сознавала себя еще способной работать с народом и для народа, и мне было досадно терять время на поселении, в глуши Сибирской тайги. Я снова собралась бежать, стремясь присоединить свой опыт к работе своих партийных товарищей, звавших меня к себе. И снова побег не удался. Всего часа два-три отделяли меня от цели, от верного пристанища, и было досадно, проскакав зимою тысячу верст, очутиться в руках врагов своих.

Опять приходила в голову мысль, что не простят они мне моих попыток вырваться на волю, попыток снова пристать к делу революционного движения. И в то же время столько жизненной неспособности ощущалось в груди, что мысль не останавливалась на пресечении деятельности, черная завеса не заслоняла дальнейшего хода событий творческого характера. Ни долгое сиденье в тюрьме, ни ссылка в Якутск не омрачили духа моего. «Переживу, – говорил внутренний голос, – все переживу и доживу до светлых дней свободы».

Из Якутска перевели в Иркутск и восстановили здесь все преследования и гонения, какими наполняли ссылку мою в г. Киренске. Здесь же я сильно заболела и видела, как врачи заботливо скрывают от меня опасность моей болезни. А мне было странно, что могли думать о роковом исходе, когда на душе у меня была полная уверенность в том, что время все приближает и приближает меня к развязке иного свойства, к торжеству революции.

Чем дольше длилась война, чем ужаснее были ее последствия, чем ярче выявлялась подлость правительства – тем яснее была неизбежность прозрения демократии всех стран, тем ближе стояла и наша революция.

Я ждала удара колокола, возвещавшего свободу, я дивилась, что удар этот заставляет ждать себя. Когда же в ноябре прошлого года взрывы негодования раздавались один за другим, когда пивные возгласы передавались от одной группы населения к другой – я уже стояла одной ногой в сибирской кибитке и только жалела о том, что санная дорога быстро портится.

Четвертого марта пришла телеграмма ко мне в Минусинск, возвестившая мне свободу. В тот же день я была по дороге к Ачинску, первому пункту на железной дороге. От Ачинска началось мое непрерывное общение с солдатами, крестьянами, рабочими, железнодорожными служащими, учащимися и полчищами дорогих мне женщин, несущих все тяжести внутренней, а теперь и тыловой жизни великого государства.

Сегодня, 20 апреля 1917 года, мой вагон везет меня на Москву и дальше. Когда остановится мое движение по великой стране – я не знаю. Очень может быть, что пророчество старого друга-каракозовца оправдается: «суждено тебе умереть в походах твоих». Если и так, да будет благословен мой народ, давший мне возможность и силы работать с ним и для него.

Катерина Брешиковская.

20-го Апреля 1917 г.

Вагон Сиб. ж. д.

Глава 2

Ишутин и каракозовцы

Это было на Нижне-Карийском промысле, в сентябре 1879 года. Нас прибыло туда несколько человек. Мужчин должны были сдать в тюрьму, а меня, за неимением еще помещения для политических женщин, сдали в вольную команду. Несколько человек, холостых и женатых, жили уже на вольно-командном положении, т. е. вне тюрьмы, в нанятых квартирках, или собственных домиках, с правом ходить по всему поселку и даже гулять по окружающим его «сопкам» – отрогам Яблоновых гор⁶.

После долгой одиночки и очень «строгого» путешествия с жандармами от Петербурга до Кары, стало очень весело, когда комендант сказал: «для вас у меня помещения нет, поживите пока у ваших товарищей; до свидания». – Жившие до нас вольнокомандцы пришли встречать привезенных товарищей, и я тут же была вручена той особе, в доме которой прожила зиму, пока бумаги обо мне ходили из Кары в Питер и обратно, решая вопрос о дальнейшем моем местожительстве.

Братски встретили нас товарищи, окружили тесным кольцом и жадно смотрели, жадно ловили каждое слово людей, только что приехавших с родины. – Привезенных мужчин скоро повели в тюрьму политических (она помещалась тогда в казацкой гауптвахте⁷), где уже сидело несколько человек, прибывших на Кару кто за год, кто за два, а кто всего за несколько недель до нас. Меня же со двора коменданта вольнокомандцы увлекли к себе в поселок. – Жандармы, за всю дорогу ни на минуту не спускавшие нас с глаз своих, стояли поодаль, точно разочарованные. Видно было, что раздумье взяло их: «стоило ли так усиленно стеречь, скакать два месяца ни разу не переодевшись, дрожать каждую секунду за целостность арестанта, для того, что бы видеть, как он, веселый, окруженный родными людьми, свободно уходит, куда – они не знают даже». – Мы выходили со двора, когда позади нас раздался голос: «расковать... они дворяне, их не имели права ни брить, ни везти в кандалах». Вольные жены, приехавшие с мужьями, повеселели. Все заговорили, все возбуждены, полны новых глубоких душевных ощущений... Новые места, новые условия, новая борьба... Но сейчас – нет. Сейчас – воздух, простор, свободно движущиеся люди, одетые не по-арестантски.

– Сколько же вас всех?.. Где кто живет?.. Да вы все здесь или еще кто есть?..

– Нет не все, еще есть Ишутин, каракозовец.

– Ишутин... каракозовец⁸... Боже мой... Где же он?

Не помню, в тот или на другой день я увиделась с Ишутиним. Встретилась я с ним робко, конфузливо, не зная как быть, чтобы не шокировать чем-нибудь, не быть чем-нибудь неприятной человеку, который, как оказалось, давно уже потерял душевное равновесие и всякий интерес к живым и широким вопросам. Он жил одиноко, бедно, грязно. Злая чахотка уже истощила его физические силы, кашель неумолимо бил слабую грудь, он весь сжимался; казалось вот-вот задохнется тут же, сейчас. Он был еще на ногах и даже быстро проходил по поселку, когда хотел повидать кого-нибудь или спросить чего. Фактического надзора за ним не было, его душевная болезнь и последняя степень чахотки были достаточной порукой в его безвредности правительству. Небольшой ростом, худой и бледный, он холодно встречал подходивших к нему людей, считал неуместным близость товарищеских отношений и только к тем немногим, кто лично ему нравился, относился доверчиво.

Моя простая крестьянская одежда неприятно поразила его, и после первых же слов знакомства он произнес торжественно: «Гордыня... это все ваша гордыня... сударыня!.. Зачем эта одежда!.. Зачем унижение того рода, из которого вы исходите?.. Ваш отец, быть может,

почтенный феодал... благодетель своих крестьян... верный своим традициям живет, окруженный всеобщим почетом... а вы... вы попираете все это!..» и так все дальше и дальше. Видно было, что, продолжая говорить, он слушал сам себя и видел картины, которые старался изображать; он увлекался ими и мог подолгу беседовать с воображаемым миром. Другой раз, – когда, совсем ослабевший, он уже слег в постель (в лазарет), укоряя меня за то, что я порвала все связи с прошлой жизнью, он в мрачном восторге рисовал мне всю прелесть московских театров, лож, полных нарядных красавиц, увешанных дорогими камнями, красоту широких лестниц, устланных коврами, залитых светом огней, и снова красавицы, окруженный всякими почестями...

Было и жутко и больно слушать такие речи человеку, только что вырванному из среды отважных товарищей, и от человека столько страдавшего за правду, столько пережившего чужих страданий. Но возмущение утихало, когда вы внимательно вглядывались в желтый, иссохший остов, конвульсивно дрожавший от смертельного кашля. Кругом мокрота, белье грязное, подушки засаленный, воздух жестокий... Больной Ишутин не выносил прикосновения чужих рук, не позволял менять вещи и белье, соблюдал ему одному понятную экономно и окружил себя в лазарете, где пролежал месяца три один в огромной палате, скудным, но таким сложным хозяйством, в котором никто не мог угодить ему, кроме А. И. бывшей тогда фельдшерицей при лазарете. Моих посещений он не любил, к услугам моим относился холодно, но я не могла не заходить к нему, потому что служитель не успевал бывать часто в его палате и раздражался капризами больного, а любимица его была занята с утра до вечера. Особенно боялись мы ночей, когда один, он мог захлебнуться в своей мокроте или в припадке кашля свалиться с кровати. Собравшись с духом, я попросила его позволить мне ночевать в его палате. Боже мой, какой гнев вызвало это предложение. – «Никогда женщина не должна позволить себе этого... И как могли вы сказать это?... В одной палате!..»

Никто из товарищей не знал наверное, когда именно Ишутин заболел душевно. Одно было несомненно, что в Сибирь его привезли уже ненормальными

Вот что мне известно об Ишутине и его кружке, со слов одного из нечаевцев (теперь умершего), жившего с ним и другими каракозовцами в Александровском заводе, и по рассказам двух каракозовцев, с которыми мне пришлось сблизиться, уже возвращаясь из Сибири в Россию. Оба эти товарища могли бы и сейчас пополнить многое из забытого мною.

* * *

Задолго до выстрела Каракозова, в московский университет поступила группа юношей из Пензенской, Владимирской и других подмосковных губерний, рано окончивших свои гимназии, даровитых и решительных. Многие из них были детьми богатых помещиков, имели в Москве родных и знакомых с видным общественным положением и могли сразу войти в широкие сношения с либеральными слоями общества. В то же время общество верило еще и в провинции и в столицах даже, что путь благотельных реформ желателен самому правительству, что оно охотно возьмет всю передовую часть общества себе в помощники, что стоит только выйти на арену жизни и предложить свои услуги, чтоб они были приняты и встретили бы поддержку и покровительство. Особенно радовались молодые силы. Учились, готовились, строили грандиозные планы: как и чем служить великому делу образовали великого народа, великой страны. Бесконечное поле всесторонней работы влекло к себе все бескорыстные силы: одни готовились строить и открывать школы и учить в них, учить без конца; другие заводи́ли библиотеки, издавали книги, писали новый азбуки, народный брошюры по всем отраслям знания. Третьи мечтали и пытались обратить свои земли в образцовый хозяйства, где все округа научится полезнейшим изобретениям и способам, где крестьяне получают и совет, и указание,

и помощь. Шли в волостные и сельские писаря толковать мужику новые законы, вводить его в земскую жизнь, защищать его от пауков, окружавших народ густыми сетями, Покупали медицинские книги и лекарства и, как умели, лечили деревню, учили ее гигиене, спасали от заразы молодых и детей. Поток прорвавшейся энергии и веками накопленных лучших сил и вкусов хлынул с такой быстротой, что на пути своем не замечал, сколько препятствий он должен был обходить, сколько жертв он оставлял по дороге, как чья-то злая рука портила и кромсала его работу; как все выше поднималась стена враждебности со стороны правительства и постепенно загораживала дорогу развернувшейся общественной сил, чтобы вогнать ее в старый тесные рамки.

В то же время, т. е. в начале 60-х годов, русское общество готовилось праздновать именины своего признания: «Мы тоже люди. Мы граждане, а не рабы!»

Надо было много благоприятных условия для того, чтобы молодой, неопытный ум мог разобраться в тех новых, сложных и противоречивых явлениях, которыми в те годы была полна жизнь России. Нужна была ясность ума, значение истории и близкое знакомство с условиями своей страны, чтобы прийти к убеждению, что при всей красивой внешности либеральных реформ, Россия остается в том же безвыходном положении, в каком была до начала их. Нужно было много смелости мысли и чувства, чтобы утверждать, что крестьянство отпущено на волю нищим, и что оставшееся во всей своей силе самодержавие могло каждую минуту отнять «реформы» и заменить их какими угодно варварскими законами и циркулярами.

Тем большего внимания заслуживает молодая московская группа, сознавшая всю недействительность «всяких реформ» и решившая составить из себя также революционное ядро для постепенного образования партии, могущей вступить в борьбу с царизмом и помочь народу отвоевать себе свободу экономическую и политическую. Точной, определенной программы группа эта еще не имела, она еще не разработала подробного плана дальнейших действий, а ближайшей целью своей поставила революционную пропаганду в той среде, с которой соприкасалась. Понимая и чувствуя свое духовное одиночество, молодые революционеры держали себя конспиративно и с большим разбором принимали новых членов в свой организаторский кружок. В обществе они заявляли себя либералами, желающими служить народу, всеми дозволенными культурными способами. Члены кружка действительно работали в школах, мастерских, библиотеках; открывали их сами; отстаивали права женщин на труд, на образование. Этот способ работы, в то время, не только много значил сам по себе, не только прикрывал их более радикальные планы, но и давал им возможность выбирать лучших, способных людей и готовить их к более ответственной работе.

Ишутин состоял в центральном кружке. Хотя старше других, – ему было около 25 лет, – он горячился и увлекался, как юноша. Работа кипела в его руках. Знакомства приумножались, завязывались новые сношения, революционная атмосфера сгущалась, вопросы ставились решительнее и острее. Способные, жадно учившиеся юноши, страстно и неустанно вырабатывали свое мирозерцание; их квартиры стали мало-помалу теми умственными клубами, куда спешило лучшее московское студенчество, чтобы найти ответы на массу грозных вопросов, всегда присущих здоровой душе человека.

Среди посещавшей их молодежи Ишутин остановился на одном молодом господине и хотел ввести его в более тесный круг. Он хвалил человека и ручался за него, но большая часть кружка отклонила этот шаг, и все решительно высказались против приняли его в члены организации. Ишутин продолжал вести с ним знакомство и видимо все больше сближался с ним. Молодой человек (не могу с уверенностью сказать его фамилию) всегда поддакивал Ишутину, во всем соглашался с ним и высказывал большую горячность. Устав организации был точный и суровый; никто из членов не мог делиться планами и намерениями общества с кем бы то ни было, стоявшим вне кружка, пополнявшегося при строго соблюдаемых условиях и все продол-

жали смотреть на молодого человека только как на адепта, который, может быть, со временем будет принят в организацию.

Приблизительно в это же время московская революционная группа познакомилась с двоюродным братом Ишутина – Дмитрием Владимировичем Каракозовым. Войдя в круг революционеров, он охотно стал посещать их, и, по целым вечерам, молча и спокойно вслушивался в их рассуждения, споры, дебаты. Казалось, что этот высокий, сильный человек, с ясными голубыми глазами, выросший вблизи народа, в одной из приволжских губерний – наслаждался новым для него миром вопросов и задач и, в то же время, разбирался в собственных своих чувствах и мыслях, дотоле дремавших в нем.

Появление этого спокойного человека, умевшего внимательно слушать и умно всматриваться в своих собеседников было встречено хорошо, и много ораторских талантов работало над тем, чтобы заставить Каракозова согласиться в признании того пути, какой наметили себе товарищи Ишутина. Каракозов почти не возражал, но и не принимал на себя никаких обязательств, а продолжал слушать шумные речи, все с большей настойчивостью, с большей задумчивостью. Наконец, Каракозов громко заявил свое решение убить Александра II. В коротких словах он доказывал, что царская власть есть тот принцип, при наличии которого нечего и думать о коренных социальных реформах. Он говорил, что все усилия и жертвы революционеров будут напрасны, пока трон царский будет уверен в своей безопасности; что царь достоин казни уже потому, что обманул народ, дав ему волю и оставив землю помещикам; он утверждал, что сперва следует доказать народу сокрушимость царской власти, и уже тогда обращаться к нему с проповедью против царских порядков.

Говорил он спокойно, сдержанно-страстно, всем глядя в лицо и ни на ком не останавливаясь, точно он громко отвечал себе на те глубокие запросы своей души, которые давно томили его, но все ускользали от его понимания, пока он не наткнулся на людей, которые, сами не зная того, своими горячими и долгими спорами разрешили ему задачу всей его жизни.

Предложение Дмитрия Владимировича поразило всех, и все протестовали, кроме Ишутина. Все утверждали, что после убийства царя некому еще будет воспользоваться смятением, могущим произойти первое время, что надо сперва привлечь на свою сторону больше людей, надо организовать революционные кадры. Говорили, что народ будет против, что в его глазах царь есть освободитель и ближайшую благодетель народа... Много сражений было дано Дмитрию Владимировичу. Он терпеливо выслушивал ораторов, сдержанно отвечал им и только, когда, отойдя в сторону, он закрывал лицо руками и подолгу, не шевелясь, сидел в углу комнаты, полной горячих речей, можно было заметить, какая страстная и трудная борьба мучила этого человека.

Наконец, молодежи удалось убедить Ишутина в необходимости сбросить организацию и отодвинуть план цареубийства на неопределенное время. С помощью Ишутина удалось взять слово и с Каракозова, в том, что он отказывается от своей задачи до общего согласия. Он распрощался с товарищами и уехал в свою казанскую деревню.

Весело работали в Москве будущие «каракозовцы». Воскресные школы, книги, мастерские, собрания научные и политические – открывали им двери во всех концах Москвы, знакомили их с массами нового люда. Энергичные, любимые обществом, они всюду встречали удачу, располагали людьми и средствами и уже собирались печатно обратиться к народу с революционными воззваниями. Ишутин поспевал везде, – инициатива и энергия его не истощались.

Молодой человек (с забытой мною фамилией) всегда был возле него, хотя и по-прежнему не членом организации. Ишутин любил его за его всегдашнюю готовность и ловкость и (как потом оказалось) доверял ему значительно больше, чем это полагалось.

А Дмитрий Владимирович целых полгода лежал на своем деревенском диване и думал крепкую думушку. Сотни раз опровергал он себя, сотни раз опровергал своих противников и, в конце концов, он увидел, что нет для него иного решения вопроса, как стать лицом к лицу с

той силой, которая служить оправданием всех неправд и злодейств, совершаемых над народом. Ранней весной 1866 года он поехал в Москву, доложил здесь Ишутину о своем бесповоротном решении стрелять в Александра III, и исчез.

Ишутин предупредил товарищей....

Известно, что после своего ареста Каракозов не давал никаких показаний, но что, предъявляя его карточки всему городу, жандармы дознались, где он останавливался, прибыв в Петербург. Обыскивая номер гостиницы, где он стоял, нашли за кроватью, или комодом, скомканное письмо, обращенное Каракозовым к Ишутину.

В Москве Ишутину окружили шпионами и, проследив все его знакомства, произвели множество обысков и арестов, при чем забрали всю организацию. – Никаких улик в противоправительственной деятельности не оказалось. Все, в один голос, говорили о своих культурных работах и все отрицали революционные замыслы: не было смысла говорить о том, что предполагалось лишь в ближайшем будущем.

Все арестованные были удивлены настойчивыми требованиями правительства сознаться в «преступных замыслах», т. е. в том, что группа сорганизовалась с целью ниспровергнуть существующий порядок вещей, прибегнув к народной революции. – На допросах арестованным предъявляли целые речи, дебаты, произнесенные ими в тесном кругу товарищей. Говорили им о проектах и планах, известных только центральным лицам.... Только тут Ишутин увидел, что он пригрозил на своей груди змею: его любимец оказался предателем.

Имея в руках точные показания предателя, но не имея никаких вещественных улик против подсудимых, следственная комиссия, понукаемая своим руководителем, Муравьевым-Вешателем, настаивала, требовала, угрожала и всячески притесняла подсудимых, чтобы заставить говорить о том, что было только в умах и сердцах пленных юношей. – Власти не могли допустить, чтобы нашелся храбрец, взявши на себя одного и выполнение, и ответ за покушение на жизнь царя. Им всенепременно хотелось быть спасителями династии от обширного заговора, грозившего гибелью России. Подсудимых беспрестанно таскали на допросы, стращали их смертной казнью; и содержали их, и допрашивали, и судили в Петропавловской крепости.

Ишутину обвинили в заговоре с Каракозовым и приговорили к смертной казни. Молодой, энергичный, с тысячью планов в горячей голове, он не хотел умирать, но на эшафот он взобрался твердо.... Уже спустили на глаза саван, уже палач налаживал на шее веревку, когда спрятанный за углом герольд подскакал к эшафоту с царским помилованием. – И милость царская оказалась ядом.... Нежная душа Ишутина не вынесла издевательства: есть много оснований думать, что он тогда-же лишился рассудка. Черная пустая завеса падает за ним с этой минуты.

Каракозова повесили 4-го октября 1866 г. Человек 30 сослали в Сибирь, из них семерых на каторгу: П. Д. Ермолов, 20-ти лет, на 10 лет каторги; Н. П. Странден, 23-х лет, на 20 лет кат.; Д. А. Юрасов, 23-х лет, на 10 лет кат.; М. Н. Загибалов, 24 лет, на 6 лет кат.; О. А. Мотков, и 9 лет, на 4 г. кат.; В. Н. Шаганов, 26-ти лет, на 6 лет. кат.; П. О. Николаев, 22-х лет, на 8 лет кат. Остальные пошли на поселение.

Помилованного Ишутину довели вместе с остальными каторжанами до Нижнего, но оттуда вернули, и с тех пор он как в воду канул.... Замучили?... Запытали?.... Сгноили?... Ни друзья, ни родные, никто ничего не знал.

Сильные, здоровые, бодрые умом и духом, каракозовцы, в том же 1866 г. были привезены в Александровскую каторжную тюрьму, что на юге Забайкальской области, в 300 верстах южнее Кары.

Чернышевский был еще там; было человек полтора десятка польских повстанцев 63-го года и несколько десятков русских каторжан по разным политическим процессам. Тюремное начальство, в виду такого множества образованных сил, сочло за лучшее предоставить заключенным самим устроиться и со своим хозяйством, и со своими работами и внутренними сношениями. – Сами стряпали, сами чистили, выметали дворы, работали в огородах. Оставалось время и на

чение, и даже на устройство спектаклей, изображавших пьесы, писанный специально для этих сцен самим Николаем Гавриловичем.

Так прошло два года. Раз ночью, раздался шум в коридоре, загремели железные засовы, и в маленькой камере, лежавшей рядом с большой, где помещались каракововцы, послышался таинственный шум, шептавшие голоса. Потом дверь снова затворилась, люди ушли, и снова тишина и безмолвие. Большую камеру от маленькой отделяла дощатая стена, плохо сколоченная. Молодые силачи стали сверлить дыры, прокладывая щели, но, когда они слышали, в ответ на свой зов, знакомый им голос, – они быстро сообразили, как вынуть одну из досок, и через несколько минут стояли против Ишутина.

Он задрожал, отскочил и закричал: «Это не вы, неправда, это не вы... вас давно нет в живых... вас замучили... неправда, это обман, вас нет, вас нет!..» Бледный, измученный, с горящими глазами, он был страшен собственным ужасом своим; ужасом человека, увидевшего перед собой людей с того света.

Мало по малу, ласковые слова товарищей, их приветливые лица, знакомый выражения, напоминания о прошлом – успокоили Ишутину, привели его в себя, заставили понять действительность и признать ее. Тогда он сам стал рассказывать, как его вернули с дороги, повезли в Шлиссельбургскую крепость, пустынную, мрачную, сырую; как заковали в кандалы и держали безвыходно, при самом жестоком режиме. Мертвая тишина окружала его каменный гроб, и только вначале к нему входили чиновники, требовали дальнейших, «откровенных» показаний о заговоре против правительства и грозили новыми ужасами за его молчание и отрицание; как, наконец, принесли к нему изодранную, окровавленную одежду, в которой он узнал платье своих товарищей по суду и стали говорить ему, что «и с ним поступят также, как поступили с близкими ему людьми, если он не откроет всей правды». – Но ничего нового Ишутин и не мог-бы сказать своим палачам, если бы и хотел; жандармам все было известно из показаний «молодого человека», подтвержденных некоторыми из участников; пытки они устраивали для очистки своей совести: авось еще осталось недосказанное имя, место, произнесенное слово...

Обращаясь к товарищам своим, Ишутин говорил твердо, логично, вид имел вполне нормальный... Рассказ продолжался около двух часов. Он радовался товарищам, говорил горячо о прошлом, расспрашивал об отсутствующих... был прежний Ишутин. Затем им овладела усталость; мысль улетала куда-то, речь становилась бессвязной. Слушатели переглянулись, и страшная догадка мелькнула в их головах. – А бедный больной, вернувшись в свой мир фантазий и видений, быстро говорил сам с собою, уже не обращая внимания на действительность.

С тех пор прошли годы. Сроки кончались, каракововцев увозили на поселение в Якутскую область; Чернышевского перевели в Вилуйскую тюрьму; поляки разорялись по разным тайгам Сибири, а из остальных каторжан одни были помилованы и выехали в сибирские города, другие кончили сроки и отправлены в разные места на поселение.

Александровскую тюрьму, по каким-то «административным соображениям», закрыли. – Ишутину, как вечного каторжника, а вместе с ним и только что прибывшего нечаевца, перевели на Кару, еще не выдавшую «государственных преступников».

Больной, совсем слабый физически, и с несомненным помешательством, Ишутин настолько поражал своею беспомощностью, что даже начальство карийских промыслов сочло напрасной жестокостью держать взаперти этого человека и разрешило ему существовать вне тюрьмы, тихо блуждая по разбойничьему гнезду – поселку.

Он заходил к товарищам, жившим в вольной команде, давал уроки французского языка детям местных чиновников, охотно выпивал рюмку карийской водки, всегда разбавленной табачным настоем, помогавшей ему душить злой кашель, вечно терзавший его. Наконец, он свалился и его снесли в лазарет, по его личному настоянию. Еще два, три месяца судорожного кашля, бесконечные поты, бессонные ночи, хрип мокрот, бред, бессвязные звуки... порывистые жесты, метанье по постели, и... полное, полное одиночество.

Ишутин умер на рождественских праздниках 1878 года. – В пустой, грязной палате, на деревянной койке и мешке, набитом соломой, лежал скелет, обтянутый желтой, влажной кожей; темные, шелковистые пряди волос в беспорядке слиплись на лбу, глаза закрылись...

Через коридор тянулся ряд громадных палат-сараяв, в которых, к весне, помещалось зараз по сто цинготных и тифозных. Сейчас палаты были пустые, и в одной из них была устроена театральная сцена: подмостки для актеров, место для военной музыки и ряды стульев и скамеек для нескольких сот зрителей.

Начальство веселило себя и своих многочисленных присных.

Благодаря такой культурности властей, арестанты могли умирать под звуки мазурки и вальса.

Незадолго до смерти Ишутина, я решилась спросить его о том, как он жил в Шлиссельбургской крепости, тогда еще совсем незнакомой революционерам-социалистам. – Он быстро поднял голову, испуганно огляделся кругом, нахмурился и заговорил глухим голосом: «Там страшно... но нельзя говорить... там змеи обвивались вокруг моего тела... впивались в ноги, сжимали руки... там все ужасы... нельзя говорить об этом... они слушают...» Бессвязно, шипящим голосом и дико озираясь, он стал называть страшные вещи, облекать их в таинственную форму, отмахиваясь руками.

Я больше не расспрашивала.

Хоронила Ишутина местная полиция, товарищей не пустили на кладбище. На деревянном кресте не позволили сделать надписи.

До суда и во время суда, Каракозов и каракозовцы сидели в Петропавловской крепости, их и судили в ее стенах.

Дело Дмитрия Владимировича велось отдельно от дела организации и судили его отдельно, одного.

Случилось раз, что, когда несколько человек обвиняемых, в сопровождении своих конвойных, сидели в проходном коридоре, ожидая очереди допроса, – мимо них провели Каракозова. Он замедлил шаги и, спокойный, с тем-же твердым взглядом, быстро сказал: „Будьте спокойны: никого не выдал, ничего не сказал... все вынес... даже пытки.»

Это были последние и единственный его слова, обращенный к товарищам после ареста. – Но заправские пытки, с выворачиванием суставов и пр. – Каракозов вынес после суда. Подробности пыток неизвестны. Каракозов не мог сам войти на эшафот, его тащили под руки; он не мог сказать слова, не мог сделать жеста. Весь Петербург был уверен, что вешали не человека, а его труп.

Но знали и то, что ни пытки, ни смерть не вырвали у него ни одного признания.

Кроме Ишутина, которого истерили сверх человеческой силы, все каракозовцы выдержали и каторгу, и ссылку в якутские тундры, где они были первыми политическими ссыльными. Разбросанные на тысячи верст один от другого, окруженные враждебно-настроенным населением (натерпевшимся всевозможных притеснений от русских властей), – они все-таки сумели создать возможность жить там, и для себя, и для вновь прибывавших товарищей, победив предубеждение якутов своим упорным трудолюбием, своим участием к нуждам населения и своей просветительной деятельностью. – До сих пор помнят их местные жители, как умных, все умеющих русских. – Это были сильные, одаренные люди.

Что делало, что говорило, что думало русское общество, когда раздался выстрел Каракозова?

Общество справляло свои именины (и с тех пор оно их, кажется, больше не видело). Во-первых, оно все еще радовалось тому, что освобождение крестьян прошло для него не только благополучно, но и набило его карманы выкупными свидетельствами; во-вторых, оно улыбалось себе, любуясь своей гуманностью и своей прогрессивностью; в третьих, оно искренно благодарило Бога за то, что Александр III не сдает в солдаты ваших лучших писателей и поэтов

русских, а только некоторых, самых лучших ссылает на каторгу, и то по суду. – Все просветительные реформы того времени большое общество приписывало, главным образом, инициативе Александра II, все же репрессии, – уже тогда поражающая более чувствительных своею грубостью, – ставились в вину или «недобрым министрам», или бестактности «радикалов», всегда желавших больше свободы слова, печати и деятельности, чем сколько отпускалось из царской лакейской. – Одним словом, в то время имя Александра II еще розовыми буквами было написано в сердцах его подданных...

И вдруг выстрел!.. Какой афронт⁹! – Именинный праздник был нарушен. Пошли тревожные собрания, адреса, молебны. Одни, задыхаясь, кричали: „Вот! вот!.. мы говорили... Вот она воля!.. вот они реформы!..“

Другие били себя в грудь и громко говорили: – «Поймите же, что это вздор, нелепость! Мальчишка... неуч... Разве можно обобщать?» Здравый смысл народа против... Все негодуют... Нет, здесь реформы не при чем! А образумить, наказать – конечно, надо!..»

Кричали, спорили, все обсудили, решили, как быть вперед, и только одного не досмотрели: что этот выстрел отнял у отцов детей их; что личность Каракозова и его подвиг раскололи раз навсегда интеллигентную часть России; люди, которые стремились воспользоваться благами прогресса для себя лично, составили ту аморфную массу, которую принято у нас называть «либералами»; а те, которые не могли спокойно жить, видя вокруг себя море обид, горя и неправды, – ушли в школу Рахметова¹⁰ и вынесли оттуда достаточно мужества, любви и ненависти, чтобы отдать всю жизнь свою восстановлению поправленных прав человека. Эти последние и были той средой, которая тут же стала формироваться в социально-революционные кадры.

Не вдруг, конечно, откололась молодежь от общего течения; она, быть может, не сразу уяснила себе вполне, откуда взялось ее охлаждение к либерализму, ее равнодушие к «великим реформам», но она чувствовала ясно, что для нее нет возврата к именинам, при наличных условиях, и что вот-вот, она должна взять посох в руки и отправиться искать новых, еще неизвестных ей путей.

– Конечно, были и тогда отдельные лица, для которых выстрел Каракозова был не только желанным, но и долгожданным ударом, но таких было мало, а в целом молодежь еще с легким сердцем смотрела на возможность работать на легальной почве.

Правда, она уже и тогда видела, как люди платились тюрьмой и ссылкой, за свое усердие к просвещению других; как исправники закрывали частные школы, попы доносили, предводители изгоняли бескорыстных учителей, студентам запрещали поступать в волостные писаря и т. д. Все это и много другого скверного молодежь видела и вычитывала из газет, но... кому легко расстаться с надеждой послужить общему делу открыто, свободно, широко! – это во-первых, а во-вторых, как могла молодежь – искренняя, горячая, но не выдающая жизни своей страны, мало знакомая с историей, идеализирующая человека, – заподозрить, усомниться в чистоте намерении царя, уничтожившего крепостное право!

Выстрел Каракозова был ударом, удивившим, поразившим одних, смутившим, вогнавшим в раздумье других. Каракозов – молодой и отважный, прекрасный товарищ прекрасных людей, сумевший умереть, как закаленный герой. Пусть его ругают, поносят; пусть родные его стыдятся фамилии своей и просят царя „дозволить им сменить «Каракозова» на «Александрова» – пусть вся Россия распинается в преданности царю, шлет ему адреса, иконы, строит часовни... пусть, пусть! А он все-таки наш, наша плоть, наша кровь, наш брат, наш друг, наш товарищ. Мы его любим, мы его жалеем, мы ему поклоняемся. – Она не смела сказать все это громко, не только потому, что боялась, но и потому, что все эти чувства и мысли были слишком новы ей самой, она еще не успела в них разобраться.

«А они, отцы наши! кого они любят, кого чествуют!.. Комиссарова¹¹. – Почему никто из них не стоял там, никто не стерег своего царя-благодетеля, почему среди них не нашлось

никого, чтобы действительно, а не невзначай отвести руку стрелявшего?.. Случайно ее толкнул стесненный толпой молодой шапочник из Костромы, вместе с другими прохожими глазевшими на выходящего из Летнего Сада Александра III. Кто-то из толпы случайно толкнул его локоть, так же случайно его рука толкнула руку Каракозова, державшего револьвер, и выстрел, назначенный царю, раздался вверх».

Слепой толчок ничего не подозревавшего человека вызвал восторг всего верноподданного мира. Сконфуженное общество обрадовалось возможности перенести разговор от щекотливо-грустной темы к умирительно-веселенькому происшествию. Заказали сотни тысяч Комиссаровых на бумаге и все, состоявшие на государственной службе, и все темные, и все робкие – увесили ими стены своих самых видных углов.

Надо было доказать, что «народ предан... народ любить царя... вот ясное доказательство... – Простой, совсем простой, неграмотный... и вдруг спас!.. Да спас... он... всю Россию!..» Ползающие перед монархом и хихикающие себе в бороды, все требовали чествования Комиссарова, век жаждали видеть его своими глазами. Царь дал ему чин, мундир, денег; пригласили к нему офицера и возили по институтам, корпусам, салонам. Его встречали, дарили, кланялись ему. – Царица выписала его жену из деревни и своими руками вдела ей бриллиантовые серьги; нарядили ее в кринолин и бархат и пустили гулять по столице. Анекдоты самые дурацкие, самые пошлые, на тему о «спасителе и его жене», сыпались со всех сторон, ходили по всей России. Бедные супруги Комиссаровы стали посмешищем всего Петербурга, и «спаситель» не выдержал и запил горькую. Тогда двор и общество озабочилось дальнейшим устройством судьбы своего героя. Об этом трактовали в газетах и порушили так: царь дает ему дворянское достоинство, а дворяне вносят в складчину 50 тысяч на покупку гимназия новому собрату своему – Комиссарову – Костромскому. – Героя отправили в новое его поместье и оставили одного... Сбитый с толку, очумевший от всех царских милостей и тех комедийных положений, в который его ставили с утра и до вечера – Комиссарову оставшись один, стал пить не переставая и, как было объявлено в газетах, в белой горячке повысился в своем дворянском поместье.

Как кошмар, как смрадный осадок, ложилась эта гнусная трагикомедия на душу честной молодежи. – Две виселицы, Каракозова и Комиссарова, явились символами двух направлений, разделивших с тех пор Россию на два определенных лагеря. – Один лагерь, с «Московскими Ведомостями» во главе, пошел направо кормиться от крох, падающих с престола царей; другой, храня в душе заветы Чернышевского и не спуская глаз с лучезарного облика Каракозова, – все круче и круче поворачивал влево, пока не научился служить своей родине так же умело и упорно, как каракозовцы, и так же самоотверженно геройски, как сам Каракозов.

Глава 3

Отец Митрофан

Это было в августе или сентябре 1877 г. – Мы сидели в крепости и нам только что роздали на руки обвинительный акт по делу 193-х¹². Вслед за этим нас «водили» в приемную для чтения «дела», т. е. показаний участников и свидетелей нашего процесса. – На длинном столе приемной раскладывали толстые синие папки, занумерованный и набитые бумагами, исписанными всевозможными почерками. Таких папок было несколько сотен, их привозили и увозили целыми возами. Тут были и показания в 2–3 страницы и в 20 и 40 страниц, и были отказы от всяких показаний. Были прекрасные биографические очерки, были записанные речи наболевших обид и мучены, своих и чужих; были крики негодования на варварство сильных по отношению к слабым, были гордые вызовы и, рядом с ними, плач и жалобы слабой души, испугавшейся необычного, неизвестного.

Заклученных вводили по одному, и каждый брал себе те фолианты, которые почему-либо его интересовали, но никто не мог углубиться в чтение, всех тянуло посмотреть друг на друга, улыбнуться товарищу, перекинуться словом после трехлетнего одиночества. – Так тянулось несколько дней, пока начальство, видя, что заключенные гораздо больше интересуются возможностью повидаться, чем возиться с мертвой бумагой, – закрыло «читальню» и занялось тайной перевозкой крепостных заключенных в Дом Предварительного Заключения¹³, стягивая туда к суду со всех концов России подсудимых из провинциальных тюрем и с порук.

Со дня получения обвинительного акта перестукивания и сношения в крепости значительно участились; почти целый день мы висели на окнах (тогда это еще возможно было) и переговаривались, стуча в решетку, то негодуя на искажения и пошлые выходки, которыми было переполнено правительственное сочинение, то удивляясь тупому нежеланию властей понять причины нашего движения, признать гибельность положения народных масс. Многие из арестованных давали подробный, серьезно изложенные показания только для того, чтобы показать критическое состояние страны, едва освобожденной от крепостничества; а между тем, товарищ прокурор Желиховский¹⁴, составивший обвинительный акт, ничего другого не усмотрел в хождении в народ 74 года более тысячи человек образованной молодежи, – как только желание этой молодежи щегольнуть радикализмом и, кстати, провести весело время, отлынивая от науки, труда и всех обязанностей. Своими плоскими выходками и гадкими инсинуациями автор надеялся уронить нас не только во мнении других, но и в нашем собственном, на самом же деле, он достиг совсем обратного; он показал нам, да и всему обществу, что у правительства нет ни всяких возражений, ни веских оправданий; что кроме личных нападков и чисто бабских сплетен, оно ничего не может противопоставить тому открытому обвинению, которым послужило движение в народ лучшей части русской молодежи, – движете, имевшее целью открыть глаза народу на опасность его положения.

Мы, сильвине в крепости (семьдесят человек), уже тогда решили, что откажемся от царского суда и не будем присутствовать при разбирательстве дела, зная, что суд сословных представителей не только должен судить пристрастно, но что он наперед получил инструкцию от шефа жандармов, кого к чему приговорить; что вся процедура суда есть гнусная комедия, которая требовалась для успокоения нашего недалёковидного общества. Между тем, надо было ответить на клеветы Желиховского и показать публике, что он не прокурор, а пасквильант, да еще из бездарных.

Ипполит Мышкин заявил, что просить, чтобы товарищи разрешили ему сказать речь на суде, так как, все равно, он ни в каком случае не сможет сдержать себя и не сказать суду все то, что накопило у него на душе.

«Не защищаться буду, а буду нападать... Я сын народа: мой отец солдат, моя мать крестьянка, – я имею право, я должен сказать им, что народ им не верить, что он ненавидит их, что они его злодеи...»

Решено было, что Мышкин скажет речь, хотя все знали, что ему не дадут договорить всего и что лишь отрывками можно будет обрисовать причины движения и его содержание.

Начался воровской увоз из крепости и каждый день на окнах не досчитывались трех-четырех товарищей и все труднее становилось дозваться соседей, потому что расстояния росли и росли.

Мы не знали, радоваться ли тому, что скоро все соберемся под одну крышу, или печалиться, смотря на «разорение родного гнезда», как кто-то печально простучал по решетке.

В один из пасмурных осенних вечеров перевезли и меня в предварилку, ввели в тесный ящик и захлопнули дверь. Я стояла посреди камеры, не успев еще собраться с мыслями, как форточка в двери открылась и молодая надзирательница громко сказала: „Идите в клуб, вас ждут“. – Я переспросила, – „В клуб идите, уже все собрались... чего же вы...“ – „Я ничего не понимала, но чувствовала, что есть чему-то радоваться, куда-то спешить. – „В клуб?... я хочу в клуб... но где же он?...“ – „Так идите же скорее... зовут ведь... ждут...“ – „Куда же я пойду... скажите... поведите...“ – „Да вон, вон... в клуб...“ Надзирательница тыкала рукою в угол, где стояла раковина ватерклозета. – Я стояла, раскрыв глаза и рот, и ничего не понимала. – „Да есть у вас палка“, вдруг спросила надзирательница. „Нет палки“, ответила я виноватым голосом. Форточка захлопнулась, а через минуту надзирательница просовывала мне палку в аршин¹⁵ длиною, с тряпкой на конце... „Вот вам и палка, идите в клуб“. Я чувствовала себя несчастной: жажда идти в клуб и невозможность попасть туда терзали мое сердце; беспомощная, я стояла и молчала. – «Господи... все-то ничего не понимает!...» Дверь шумно отворилась, влетела надзирательница, выхватила у меня палку, открыла крышку клозета, и с повелительным жестом сказала: „Смотрите... тряпкой вниз и выкачивайте воду влево, в трубу... еще напустите воды, всполосните и опять выкачивайте... Ну, теперь становитесь... говорите...» – Она поставила палку в уголь, захлопнула дверь и была такова. Все еще плохо соображая в чем дело, я нагнулась над раковиной и закричала: „Господа... меня привезли...“ – „Катю привезли... Катю привезли...» раздалась возгласы разных голосов, ясно и громко долетавших до моего уха. „Вы где?“ – „Мы в камерах, мы тоже в раковины говорим... это клуб называется... десять человек могут говорить вместе... ты не кричи очень, и так хорошо слышно...»

Моей радости и моему удивлению конца не было. Виданное ли дело – из одиночки в голос разговаривать, да еще с десятью человеками за раз... да еще после трех лет молчания! – Оказалось, что мужчины первые открыли способ говорить через трубы клозетов и передали свое открытие на женское отделение. Тюрьма вдруг заговорила, и не было возможности заставить ее замолчать. – Так беседовали мы почти целый год, меняя составы клубов для лучшего ознакомления со всеми заключенными, пока нас не развезли во все стороны света. И старшее и младшее начальство было вынуждено терпеть «клубы» одиночников, которых поневоле пришлось держать в одной тюрьме, и мы громко обсуждали и отношение наше к предстоящему суду и организацию массового против него протеста. Правда, что за это время жандармы еще ближе ознакомились с характеристикой каждого из нас.

Со мной сейчас же заговорили и об сочинении Желиховского, которое, как оказалось, вызвало в Доме Предварительного Заключение еще большее негодование, чем у нас в крепости, где решили пренебречь выходками правительства, заведомо для всех клеветавшего с сотворения мира на всех политических деятелей, искажавшего всякое революционное движение.

– «Нет, здесь иначе отнеслись... уже написано опровержение... целая книга с выписками из документов, с заявлениями, со ссылками на показания... целый обвинительный акт про-

курорам и следователями... называется: «Безвыходное Положение»... книга теперь на женском отделении, завтра можно достать»... – «Кто-же ее написал?» – «Составляли ее многие, а редактировал и собирал материал отец Митрофан¹⁶»... – „Это кто?“ – „Муравский, разве не знаешь?“ – „В первый раз слышу«. – „из оренбургского кружка... о, это особенный человек... его все зовут отцом Митрофаном, потому что уж очень уважают... а молодежь так за ним и ходить... на прогулках у него целая школа... Ведь он уже был на каторге... ему уже 42 года... умный, образованный...»

Что это?.. Откуда это? Присутствие в нашем процессе бывшего каторжника, этого высшего существа, по моему представлению, было для меня такой неожиданностью, такой обаятельной новизной, такой неслыханной еще честью для молодого движения, что мысль о Муравском и его книге не оставляла меня всю ночь, и я едва дождалась утра, чтобы скорее добиться желанной книги. Мне принесли толстую в два пальца тетрадь, хорошо сброшюрованную и четко переписанную. С какой любовью взяла я ее в свои руки, с каким интересом стала читать страницу за страницей!

В начала, составитель книги доказательно и спокойно указал на крайне трудное положение прокурора имперского суда, обязанного, во что бы то ни стало, из белого делать черное и из черного белое; обязанного уверить всю Россию в том, что ей живется как нельзя лучше, что всем этим лучшим она обязана попечениям своего батюшки-царя, который устроил бы еще того лучше житье, если бы ему не мешали злостные молодые люди, мало учившиеся, но много о себе думающие; что поведение этих, хотя, к счастью, и немногих, но крайне вредных юношей, как мужчин, так и женщин, делает несчастными не только их родных и знакомых, но и все общество, их... а потому, по всем законам и божеским, и человеческим, всех их, обвинив по 250 статье Уложения о наказаниях, следует приговорить к каторге и сослать кого на долгий, кого на короткий срок, кого на заводы, кого в рудники, кого в крепости. – Теперешние обвинительные акты носят несколько иной характер; видно, что прокуроры уже знают отношение публики к их сочинениям и не вдаются ни в дидактику, ни в сентиментализм, ни в мелкие сплетни, а прямо, что называется, „закатывают« подсудимого по любой статье закона, не справляясь даже с тем, имеются ли на лицо улики... и дело с концом. Тогда же революция была еще внове и обвинительные акты, кроме карательного значения, должны были иметь значение послания, дискредитирующего революционеров перед лицом всего населения. А так как достичь этой цели возможно только с помощью заведомой лжи и тенденциозных подтасовок фактов, фраз и слов, выхваченных из показаний, то и Желиховскому пришлось обратиться в шулера, не останавливающегося ни перед ложью, ни перед передергиванием карт. Но именно его откровенная ложь и подтасовка, сшитая белыми нитками, и облегчала задачу опровержения нелепостей, которыми он заполнил свое сочинение.

Муравский, как человек умный, опытный и образованный, скоро сообразил, как легко, даже сидя в одиночке, разбить все положения прокурора, поставленного в безвыходное положение, и изобразить дело в его настоящем виде. – Благодаря доступности сообщений, в то время уже вполне отвоеванных в Доме Пред. Зак., где тогда сидело более двухсот человек, отец Митрофан из своей камеры организовал группу лиц, которая не только сама выписывала из „дела« все нужные места, но и другим поручала делать то же; кроме того, она опрашивала сидящих относительно спорных пунктов и доставала письменные свидетельства и заявления от лиц, компетентных по данным вопросам. Весь этот материал был рассортирован, разработан и послужил ясным доказательством верности взглядов автора, в его разборе содержания труда Желиховского, озаглавленного: «Дело о революционной пропаганде в 36 губерниях».

«Безвыходное положение» всех приводило в восторг. Оно было и доказательно, и очень остроумно составлено. Его читали все адвокаты, читали на воле и свои, его, наконец, отправили за границу для напечатания, – Впоследствии я никогда не слыхала о его появлении; надо думать, что объемистость произведения затрудняла издание его в нелегальном виде, а вскоре

после было столько событий большой важности, что желание показать русскому обществу, каким способом прокуроры пишут обвинительные акты для политических процессов, – остыло и забылось).

Другое дело тогда, когда каждая строка, каждое слово восстанавливали правду относительно события и лиц дорогих, близких, священных уму и сердцу нашему. – Я читала, не отрываясь, а когда кончила, собрала все лоскутки имевшейся при мне бумаги и села писать человеку, которого я уже почитала и любила, сколько могла, сколько умела.

Чем больше мы знаем хорошего человека, тем больше мы его любим, и чем больше мы его любим, тем больше хотим знать о нем. И я просила Муравского, чтобы он написал мне: откуда он взялся, и как он жил, и как вошел в нашу среду. – Он ответил охотно, и сказал, что уже знает обо мне от товарищей. Мы переписывались часто и много, но в первый раз встретились на суде, куда первые три дня ходили все 193 человека, заполняя всю, без остатка, маленькую залу, отведенную для суда, долженствовавшего сослать нас на каторгу.

Мы, женщины, уселись на места для свидетелей, вправо от нас все скамьи для публики были заняты мужской молодежью, а против нас на «Голгофе» (место для подсудимых), стояли: Войнаральский¹⁷, Ковалик¹⁸, Мышкин¹⁹, Рогачев²⁰, еще человек 5–6 и между ними – высокий, худощавый, с зеленоватого цвета лицом, точно отшельник, вышедший из своего скита, с достойной осанкой и спокойным, ясным взглядом, – стоял Митрофан Данилович Муравский. Ни смущение, ни восторги, ни волнения окружавшей его толпы, казалось, не отражались на нем. Старый солдат, закаленный воин, он тихо озирает давно знакомое, но так сильно изменившееся поле битвы и, быть может, делает подсчет успехам революционного движения в России, за годы своего изгнания и сидения по тюрьмам. За 4 года своего заключения, по делу 193-х, Муравский не только сам много читал и работал над решением социальных вопросов для России, но всеми своими мыслями и выводами он делился с молодежью и, особенно за последний год, находился в постоянном общении со своими учениками, поддерживая их решимость, проводя свое учение далеко за пределы окружавших его непосредственно. И все чтили его, все боялись его осуждения.

Через три дня мы прекратили хождение на суд. Мы были недовольны тем, что «присутствие», испуганное нашим воинственным настроением, порешило разбить нас на группы и каждую группу судить отдельно. Это, во первых, прекращало наше совместное пребывание в зале суда, а во вторых, давало возможность судьям еще больше исказить ведение следствия. – С прекращением хождения на суд, тюремная переписка возобновилась с удвоенной силой.

Муравский был сильно озабочен успешным ходом протеста, выражавшемся и в самом отказе от участия в суде, и в мотивировках этого отказа. Понятно, что резко мотивированный отказ навлекал на подсудимого особый гнев начальства, и сулил значительно большую степень наказания. Задача более решительных и заключалась в том, чтобы доказать сомневающимся, во-первых, политическое значение прямого отказа от участия в суде; во вторых, надо было убедить их в том, что чем больше будет протестующих, тем и наказания будут легче и тем сильнее действие протеста. На эту гражданскую проповедь и уходили в то время силы и способности Муравского, всегда окруженного молодежью, льнувшей к нему потому, что находила в нем ту неподкупную нравственную силу, которая не обманет и не даст сделать ложного шага. Кроме того ему приходилось много писать самому и редактировать рукописи других, потому что отказавшихся от суда было около 150 человек и многие из них занялись писанием: кто воспоминаний, кто о практике революционной работы, кто писал обращения на волю, к товарищам, кто набрасывал проекты программ, кто стихотворствовал... В то время вышло в тюрьме несколько хороших сборников и в каждом из них отец Митрофан принимал живое участие. Его камера обратилась в кабинет литератора-редактора, всегда озабоченного выпуском новых сочинений.

Несмотря на такую деятельную жизнь, он успевал писать длинные письма, в которых, отвечая на мои вопросы, рассказывал о себе, хотя всегда коротко и сжато. – И эти дорогие письма, как и бесчисленное число других подобных, погибли преждевременной смертью. – Сама я перечитывала их много раз, читала вслух и своим близким товаркам, но передать их содержание в порядке не могу и храню в своей памяти только общую картину жизни и настроения Митрофана Даниловича, которым он делился со мной без всякой утайки. Если бы все, разбросанное по отдельным письмам, соединить в одну речь, то вот что пришлось бы нам услышать:

«Я не был ни героем, ни бойцом, – говорил он, – и много сказать о себе мне нечего. Единственное крупное достоинство, которое я признаю за собой, это то, что я всегда был смел без нахальства, и осторожен без трусости. Мне думается, что моя жизнь, это типичная жизнь честного человека, прожившего свой век в русском царстве. В другой европейской стране моя биография показалась бы едва ли правдоподобной, а у нас уж сотни жизней растрчены также непроизводительно, сотни таких же честных намерений поставлены в вину их носителям и вместе с ними растоптаны и выброшены за борт жизни... Не миновать бы и мне беспросветного конца, сплошного вымирания еще живых чувств, еще ясного сознания, да вот, на мое великое счастье, ваше движение подхватило и меня, дало мне возможность еще раз видеть себя человеком... обновиться, и уже весело ждать смерти, где бы она меня ни захватила.

В двух словах могу вам передать мой *curriculum vitae*²¹, послужной список русского человека, имевшего заблуждение считать себя существом, могущим и думать, и чувствовать, и рассуждать. – Правда, не все такие люди проходили непременно через каторгу, во всяком случае их ожидало что-либо не лучшее, если только не худшее; потому что для меня, напр., каторга была местом, где я в первый раз близко увидел людей, которых знал только по их несчастьям, или только в воображении своем. – Там я видел Николая Гавриловича Чернышевского²², слышал его, говорил с ним, разыгрывал вместе с другими пьесы его сочинения и – только глядя на спокойную и ясную твердость его характера, я понял до какой большой высоты способна подняться душа человека. – Там сблизился я с каракозовцами и в лице этих здоровых натур – весело выносивших все неудобства каторжной жизни, вечно находчивых, вечно изобретавших себе работы и для ума, и для рук, хороших товарищей, верных слуг своей идеи – я встретил ту русскую молодежь, которая не даст России зачахнуть и задохнуться в той древне-великокняжеской атмосфере, которую, как святыню охраняют радетели своих татарских интересов, считая своим единственным призванием дуваниль дуван, награбленный с обнищавшего народа... Там же я познакомился с лучшими представителями поляков, всех возрастов и положений, одинаково храбро бившихся за свободу родины, одинаково мужественно выносивших жестокую кару одолевшего их врага. Еще многих и самоотверженных я видел там, в далеком Забайкалья, и пока жил с ними – я был бодр и мои силы ждали приложения, свободы... Кончилась каторга. Моя мать, жившая в Оренбурге, выхлопотала, чтобы меня перевели туда отбывать поселение. – Много хороших чувств, много надежд вез я туда и ждал, что вот-вот понадобится на что-нибудь серьезное, нужное, действительно нужное людям. Искал людей и люди меня находили, хотел жить и люди хотели... но жизнь с нашими хотеньями не справлялась, вернее сказать, наши желания имели много против себя, со стороны все тех же блюстителей интересов „дувана“. Всякое, сколько-нибудь честное дело, они выхватывали из рук, с предложением расписаться, что: „впредь заниматься этим не будете“.

Тянулись годы, тоска грызла душу, а я не был героем и не умел найти решительного выхода, оставляющего позади себя все препятствия и узы. Напрасно глаза мои устремлялись вперед, напрасно сердце билось навстречу труду, работе, смыслу жизни.... Трубный глас не раздавался. Россия все еще пыталась свершить свой прогрессивный ход без потрясений, без борьбы.... Ничто не приходило, кроме тоски и раздражения против себя, своей беспомощно-

сти. Духота жизни и, главное, беспросветность будущего, навалились на меня со всей своей силой и я не выдержал этой тяжести, я стал пить... Я пил так же много, как много страдал, и можно легко себе представить, до чего дошел мой образ божий при таких условиях... Гадко вспоминать, но умалчивать было бы того хуже... Всем юным товарищам я говорю об этом моем падении; пусть знают, что может ждать человека, не научившегося побеждать жизнь, брать ее в свои руки, биться с ее заставами до полной победы, никогда не поддаваться, не уступать... А сколько людей погибло оттого только, что не умело рассчитать, не умело сделать выбора; так и погибло, ничего не дождавшись. – Но меня судьба не только простила, она заплатила мне за все. И за смерть огорченной матери, и за потерю образа человеческого, и за все, за все. Я снова прикоснулся к той чистой среде, в которой чувствую себя и бодрым, и сильным, снова я у того дела, которое поднимает человека до высокого философского уровня, снова я могу дать волю всему, что есть во мне лучшего, нужного людям, именно то, чего им недостает, за их повседневными заботами. – Я стою рядом со всеми вами, товарищи, и вы мне верите, как я вам верю... Я никогда не боялся смерти, но теперь я бы не хотел ее; я вижу, что любовь моя к людям так же свежа, как и в юные годы, а желание служить их благу укрепились сознанием, что я способен на это.

Но вы хотели знать, как я попал на первую каторгу, не сделав ничего преступного. Так слушайте по порядку: порядок же начинается с моего студенчества в Харьковском университете. – Учился я легко и любил науку, на ряду с ней я и правду любил, втрое сказать, я не любил неправды, а уважение к правде считал свойством, присущим каждому неизвращенному человеку. Эта моя любовь и вовлекла меня в студенческие волнения, вызванные коварным отношением начальства к студенчеству. – Массу студентов тогда исключили и разослали кого куда, меня же выслали на родину в Оренбург. – Нашлись уроки, другие занятия, но не этим жил я тогда. Мой ум еще не потерял пытливости, хотелось многому учиться и много вопросов живых, насущных решить для себя и для других. У меня были товарищи, более горячие, более убежденные, чем я. Рассеянные по всем концам России, они переписывались со мной о тех ближайших задачах, который носились тогда в воздухе, всех трогали, всех волновали. Всеобщее образовало, библиотеки, школы, женской вопрос, земство, все это рисовали мы себе в широком масштабе и сообщали друг другу успехи наших начинаний в этом отношении. – Писали мы много и откровенно, хотя и скрывать-то было нечего, все делалось в пределах законности, в духе либеральных реформ, все, о чем так много писалось тогда в наших передовых журналах. – Писали мы, и не знали, что у нас тоже цензура есть, и, как оказалось, более строгая, чем для „Современника».

Уж я рассчитывал, что скоро наступит время, когда я опять поступлю в университет, как вдруг, неожиданно-негаданно – жандармы, обыск, отправка в Петербург. Мать страшно взволновалась, но я уверил ее, что это пустяки, недоразумение, которое сейчас же выяснится, и меня скоро вернут обратно. Я самым серьезным образом и сам так думал.

Случилось иначе. В Петербурге меня прямо привели в Третье отделение и показали мне целую грудку копий из моих писем к товарищам, а некоторые письма были писаны моей рукой. – „Признаете вы эти письма за ваши?“ задали мне первый вопрос. – Я признал их за свои и удивился, почему они понадобились Третьему отделению. – „Вы как же это полагаете, что все так и надо, как у вас там написано?“ – Я ответил, что полагаю, что так и надо, и снова удивился всему происходившему. – „Вы еще успеете это обдумать...» ответило начальство и приказало отвезти меня. – Я не бывал раньше в Петербурге, не знал его расположения и не мог сообразить, куда меня везут. Но когда мы въехали под старинный ворота и внутри странного двора заблестели штыки и замелькали кивера – я догадался, что я в стенах крепости. Здесь, в одном из рavelинов, я просидел ровно 2 года. Свидании у меня не было, к допросу меня не вызывали, и я стал думать, что обо мне забыли. Напоминать о себе мне не хотелось... За всю свою жизнь я ни с какой просьбой не обращался к начальству. – Прошло два года, однообразных, длинных.

С матерью я переписывался, но ничего не мог сказать ей о себе, потому что и сам не знал, что будет со мною. – За то успел я много прочесть и много передумать. Жандарм был прав: я успел додуматься до тех причин, которые и мои невинные письма привели в канцелярии Третьего отделения, и меня самого в петровский каземат. Здесь же я понял, какой огромный пробел в структуре реального мирозерцания русской молодежи – отсутствие достаточного знакомства с политической стороной жизни вообще и, в частности, своей страны, своего народа.

Первые месяцы своего заключения, шагая ровным шагом по камере, я рассуждал сам с собою о том, за что меня взяли, почему держат, что нашли вредного в моих письмах, говоривших только о пользе, о благе, о свободе печати, о всеобщем образовании, о равноправии... Я все объяснял ошибкой, недоразумением. – Последние месяцы, шагая более энергично и быстро, я не без злости повторял себе: „и дурак же, и простофиля же, чего захотел! И равноправия женщин, и просвещения масс... это при самом наглom, откровенном деспотизме, при общем бесправии!... ну и дурак же!...“

Наступил день, когда меня снова пригласили в Третье отделение. – Начальство встретило меня вежливо и отечески ласково сказало: „вы имели время обдумать ваши прошлые взгляды, и мы уверены, что вы их изменили. Скажите только, что вы не разделяете их больше, и мы отпустим вас домой“. Я спросил лист бумаги и написал вот эти слова: „Если, два года назад, я только предполагал, что неограниченное монархическое правление неблагоприятно отзывается на ходе жизни России, то теперь, после двухлетнего сидения в крепости неизвестно за что, и где я имел достаточно времени, чтобы обдумать причины, приведения меня в мою камеру, – я вполне убедился в неизбежности вреда самодержавного образа правления“. – Бумагу эту прочли, затем окинули меня взглядом Малюты Скуратова и приказали везти обратно в крепость. Все следствие, все допросы были покончены этим инцидентом, а через несколько недель меня вызвали «в суд», где объявили, что я приговорен к 6 годам каторжных работ.

Все-таки милостиво. Раньше сжигали за высказанное мнение, а у меня только отняли права человека, оторвали от жизни, услали за тысячи верст в дикий угол восточной Азии и заперли на замок. – Правда, и это было бы достаточно худо, если бы правительство проделывало такие вещи над одним, над двумя... но тогда оно, поневоле, ссылало многих, потому что многие уже полагали, что Россия не нуждается в опеке. И я имел счастье очутиться сразу в такой хорошей компании, о какой мог только мечтать. Мне было хорошо. Не доставало только вестей «с воли», говорящих о том, что там, далеко, в сердце России, люди не только высказывают свое мнение, но и пытаются привести его в исполнение. Отсутствие таких вестей заботило всех нас, и, после каждой полочки почты или иных посланий, можно было подметить не один пытливый взгляд, не одно напряженное внимание....

Нет, каторгу, я не проклинаю; там я вырос, там я проникся учешем социализма, там я уразумел всю истину афоризма: не кладите новых заплат на старую одежду; и, будь у меня больше самоуверенности и решительности – мне не пришлось бы краснеть за свое прошлое.

Но тогда, в Оренбурге, я уж совсем себя похоронил. Мрак окружил, тяжесть давила. С обывательским существованием мириться не мог, оно меня гнело каждую минуту... покончить с собой было стыдно, и мать еще была жива, а выхода я не сумел найти один, без указаний... инициативы не было. Мы, славяне, умеем работать только скопом.

И вдруг меня зовут, я нужен, могу вступить на знакомую, родную дорогу. – Дошел и до нашего Оренбурга слух о том, что поднимается молодая рать на битву с народным врагом, появился и к нам человек с требованием поддержки, залетели и к нам народные листки и книжки. – И мы – нас было человек 8—10 – надели котомки и разбрелись по деревням. – В нашем кружке были люди самоотверженные и толковые, но долго никто не проработал, и почти все предстанут перед судом царя-освободителя, хотя лишь для того, чтобы опротестовать его. – Да, наше пребывание в народе можно считать месяцами, а для кого и неделями, но не это важно, а важно то, что путь указан, что, наконец, революционная пропаганда вынесена

из кабинетов на улицу, в народ... За три с половиной года, что я теперь вращаюсь по тюрьмам, скольких последователей я видел, сколько процессов пережил, – и все обвиняют в пропаганде в народе социализма и „учения о ниспровержении существующего порядка"... Работа не останавливается, она становится обычным делом, и мы уже не герои, не одинокие Радищевы, а только граждане, исполняющие свою неотъемлемую обязанность. – Сколько хороших, своих людей я видел за это время. Сколько молодых голов, которых ждет большое будущее. Л – ч, О – в, К – в – зовут меня своим учителем, а я сам готов молиться на них и ничем так не горжусь, как их доверием. Сколько я встретил людей, дружба которых с лихвой покрывает все прожитые невзгоды. – Не мне жаловаться на судьбу, скорее она может пенять на меня за то, что я так поздно сумел воспользоваться теми встречами, который достаточно осветили мой путь и разорвали мои сомнения...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.